

* * *

Однажды, когда я умру до конца
и белый день опадет с лица,
услышу я, как спросонок:
по тонким дранкам заборов моих
бежит, спотыкаясь, веселый мотив:
их трогает палкой ребенок.

И каждая нота в мотиве таком
сама по себе и к тому же с ледком,
как буквы в Клину и Коломне...
И буду я думать: играй же, играй
про отчий мой край,
про чуждый мой край,
про то, что я знаю, а ты не узнай –
про то, что никак не припомню.

1967

Шиповник

Душа воспитала шиповник,
как братьев его – чернозем.
Когда вас никто не упомнит,
шиповник помянет добром.

Вы знаете правду другую.
Но вы не слышали о том,
что отперли клетку грудную
и пролили воду со льдом.

И если пустот не заполнит
твой запах, твой шаг во дворе,
душа воспитала шиповник
на пляски и дом мошкаре.

1967

Датская сказка

Полночные капли гурьба за гурьбой
гудели у стекол:
сестрица, а кто там?
Там старый поэт. Он в кресле потертом
горюет над чьей-то бездомной судьбой.

Скрип-скрип, он один и не в тягость себе
и может припомнить соленое море,
верблюдов на желтом в округлом узоре
и дерна клочок из далеких степей.

Стучат.
Но кого дожидаться ему?
И час наступил неурочный для друга,
и стонет под бурю тяжкой округа,
и тянет бедой в одиноком дому...

Но вот уже туфли шумят на пути
к холодным дверям,
к ревущему входу...
Так хочется делать добро в непогоду,
хоть собственный скорый конец приюти!

* * *

Я жизнь, которая хочет жить
в живом окружении
жизни, которая хочет жить.

А. Швейцер

Я жизнь в порыве жить.
Из горла закипая,
побегом выбегаю
к живым в порыве жить.

Сквозняк за рукавом.
Я с верхнего регистра
качу, цепляя искры
в растущий острый ком.

Играет угольком
погоня за гоненьем.
Я жизнь. Я непростенье
в порыве жить в живом.

1971

In pace

Где победитель ляжет без вести,
упав, как маленький, ничком
в пласты сбивающейся извести,
на напряженное плечо,

там жилисто навстречу тяжести
поднимется ветла отцов:
вся в гнездах чести, в небе зависти,
вся в писке мусоргских птенцов.

1971

Детство

Ночью к нам в гости – башни китайские:
кремлевские бойницы на прищур остры.
Отряхнули на соборы яблочки райские,
покатили в подворотни гулкие шары.

Покатили – забыли. Ждут себе, на нас кивая:
красные буквы, локоть золотой...
Лиза, Лизанька, дурочка таганская,
поздно уже. Рано еще смеяться надо мной.

1972

Липа

На тему Шуберта

1

Про елку-чернавку, про иву-голубку
и может, про липу одну
задумано сердце, и сытую губку
легко угнетает ко дну.

И темная выжимка ляжет поправкой
на долгой воде ключевой
для ивы-голубки, для елки-чернавки
и может, для липы одной.

2

Выпьем память дивной липы,
той, что нас пережила,
той, что локтем справедливым
нас отерла со стекла.

Это выход из преданья,
вход в имперский городок.
Это наши оправданья
заглушающий смычок.

1972

Подражание восточному

Черной раковиной с кромкой,
черной шалью костяной
обернись, душа пророка!
Увлажнили флейты око,
слух насытился хурмой.

И, душе моей ликуя,
все поддунные дела,
как жемчужницу пустую,
кинет под ноги Алла!

1972

* * *

Я имя твое отложу про запас,
про святочный сон в золотой канители:
судьба удалась, и пурга улеглась,
играют огни, созревают свирели,

восходит сокровище крови моей,
глухое сиротство, куда обогреться,
закутавши хворые ветки в тряпье,
приходят деревья путем погорельцев.

1972

* * *

В это зыбкое скопление,
в комариные столпы,
в неразборчивое тление
истолченной скорлупы

ты идешь, как содроганье
по листве старинных ив,
мошкеры не раздвигая,
луч лучами не прикрыв.

Что душа? несчастый случай,
птичий грай и дачный сон.
Но столбняк ее летучий
жестким золотом пронзен.

1973

* * *

Неужели, Мария, только рамы скрипят,
только стекла болят и трепещут?
Если это не сад –
разреши мне назад,
в тишину, где задуманы вещи.

Если это не сад, если рамы скрипят
оттого, что темней не бывает,
если это не тот заповеданный сад,
где голодные дети у яблонь сидят
и надкушенный плод забывают,

где не видно ветвей,
но дыханье темней
и надежней лекарство ночное...
Я не знаю, Мария, болезни моей.
Это сад мой стоит надо мною.

1973

* * *

Не поминай ко сну
камфару, белизну,
мятный отвар загорьбя.
Это вечерний свет
пристален – и в ответ
пристальному – подробен.

Это из наших лет
в комнате будет свет,
путая расстоянья.
Но я войду при вас,
не поднимая глаз
и задержав дыханье.

1973

Баллада

Он в чашу вступает. И кланяясь в пояс,
рассказ раздвигает ольховую поросль,
где глубже походка и ближе дыханье,
где душит черемуха и обожанье,
но каждый глядится в свои зеркала
и тклет паутину земная хвала.

Он в чашу вступает. Но можно иначе:
раздвинулся горестный рот лягушачий,
кукушка тоскует и гибели просит,
но гибель чужую из горлышка бросит,
не бросит – доносит до верного дня.
И гуще брусничника гибель у пня.

Он в чашу вступает. Но душу живую
не время вести на тропинку кривую,
не время искать за ольхой и у елки,
не время сверять перелетные толки,
не время. И времени нет нигде.
И дело идет к потемневшей воде.

– Зачем мои очи еще не устали
водой размываться, сливаться в печали
в такие же очи – и, к ряби ревнуя,
искать отраженье, как душу живую?
По сжатым губам пробегает река.
Но женская статья у его двойника.

1973

* * *

Когда говорю я: помилуй! люблю... –
я небом лукавлю, гортанью кривлю.

Но странная ласка стоит без касанья.
Так улицы старой ласкает название

и стонет душа, ни жива ни мертва,
стыдась чародейства, боясь торжества.

1973

Гости в детстве

В двух шагах от притворенной
двери в детскую, за щель
шепчут стайкой оперенной
в крыльях высохших плащей.

Что ни скажут, позабудут.
Чем сулятся, не поймут.
Вместе выйдут, ливнем будут.
Только слова не возьмут.

И стоит оно слезами
изголовья моего:
словно ангелы сказали,
не запомнив, для чего.

1973

* * *

Где тени над молью дежурят,
и живы еще за дверьми,
в широкую шубу чужую
меня до утра заверни.

Не знаю соседства пригожей
для жестких коленей и рук,
чем пыль меховая в прихожей
и медью обитый сундук.

Но слаще и меди, и пыли
под веками теплый свинец...
Кому меня здесь поручили?
Позволишь ли вспомнить, отец?

1973

* * *

Как не дрогнувши вишни потрогать?
Эти вишни дыханья темней
собирают и пробуют копать
неизвестных и сжатых огней.

Собирают, но слаще и чище,
чем придумать позволено мне
в черенках и почтении птичьем,
в трепетанье, в ученье, во тьме.

1973

Московские картинки

Елене Игнатовой

1

Синица на изгороди.
Проталина на бугре.
В вязаной рукавице
обогретая денежка!
Вот что:
можно пойти посмотреть,
как бьет родничок апельсиновый
и осипшая газировка, а дальше
ничего не случится, не бойся.

2

Как от брошенной гальки,
пошла равнина кругами,
а крайний круг
неровный: вот обернется
темнотою, вздохом молочным.
Там капуста румянится в кадках и пенится
и зимуют греческие имена:
птицы, поранив крылья осокой,
не успели к отлету.
Так живей
запахивай полу озябшей рукой,

пока небритый хозяин
кричит с крыльца:
Евдокия!

3

Что подделаю я
с сердцем неграмотным,
как его научу
не кисти слушаться, а старого слова,
правды, окаменевшей, как известь
в монастырской стене,
где пчелиный труд киновии
давно заглох, а кисть
поет по извести:
И бесконечное
друг перед другом склонение,
и бесконечное
друг другом любование,
и бесконечное
хождение любви
по впавшему в забытье кругу.

4

Карее золото,
насуспенное серебро
перекидываю из руки в руку, думаю:
или пойти поменять?
или сестре подарить?
или в Язуз кинуть?
Нет, Господи, я не о том прошу.

5

Над кладкой особняка
клубится косяк теней
и с западным ветром уносится.
А я
с зеркальца сдуну пыль
и загляну:
то, что сходством зовется,
имя имеет: мечь.
И поцелую холодные губы.
Так-то. Мы еще здесь,
птицы-куницы.

6

– Обидели меня.
Улица кривая, переулок вверх.
Как мне домой без варежки?
Варежку подари, а я
буду за тебя молиться!
– Тень,
слабая, неокрепшая, еще не темней
фонаря, когда замечает вьюга
или веки слипаются! и я
помолилась бы за тебя Богородице:
не научили.

1974

Ветхозаветный мотив

В час молчания птиц и печали
бессловесных растений и рыб
различается зыбки качанье
и веревок раскачанных скрип.

Это пыль сновиденья густая,
под шагами не слышная пыль.
И качается зыбка пустая.
И над нею нагнулась Рахиль:

то забудется, горем наскучив,
то, очнувшись, клянет забытье
и, как в зеркало влаги текучей,
обезумев, глядится в нее.

Улыбаясь, качаются воды
и дивятся своей наготе...
Кто-то дышит и медлит у входа,
приучая глаза к темноте.

1974

Успение

О прошедшем ни слова. Но, сердце, куда мы пойдем
из гостей запоздалых, из темной целебной теплицы?
Под ресницами воздух и ветер и небо, как перед дождем.
И сбегается свет, но по имени кликнуть боится.

И выходит она в задохнувшийся, плачущий луг,
молода, молода, словно холод из жерла колодца.
И слабеет трава, и непраздных касается рук,
и почти у плеча драгоценная ноша смеется.

Задышается луг, и немеет, и сходит с ума
и, цепляя за локти ее, вымогает, как милость,
боль и легкую смерть и забвение. Только она
наклоняться к цветам и венки заплетать разучилась.

Значит, стоило молча сучить непомерную нить,
чтобы здесь, перевив с повиликой и диким укропом,
удержаться от жизни и, в слезах задыхаясь, обвить
эти щиколотки, эти узкие пыльные стопы.

1974

Прóклятый поэт

– Ты думаешь, блуждая по кругам
неравного страдания, я отдам
весь ад и грех за вечное забвенье?
Я был рожден, чтоб претворился срам
в божественную память поколенья.

Когда, один у матери моей,
я родился, погода у дверей
была подобна розе госпитальной.
И род услышал: Далее не смей,
здесь кровь нашла себе приют печальный.

Веками сотворенная печаль
пришлась по вкусу веку: *Fleurs du Mal*
залить слезами, пробежать страницы
в запретный сад, где высохла едва ль
одна слеза влюбленной ученицы.

И «К Лазарю» твердящие уста –
как Юлиан, приемлющий Христа,
когда проказа пахнет адской серой,
как на колени ставшая сестра
перед сестрой, *глумящейся над верой*.

Я рос, окутан нежностью двойной.
Ничто не обещало стать виной.

И только крови оглашенной речи
я выслушал, когда позвал *иной*,
и вышел на предложенную встречу.

.....

Но разве Тот, кто нам внушил, любя,
судьбу и тело, позабыв себя,
растопчет нас, как бабочку-поденку?
Не проклял, но глаза отвел, скорбя,
от злого и любимого ребенка.

И это было то, что ты зовешь
грехом и мукой, что внушает дрожь
и осужденье вечное пророчит,
когда ты чуждый голос разберешь
в многоголосье злоязычной ночи.

Но разве мука – то, что я терплю?
Мне кажется, я не раздевшись сплю,
и вот рожок сыграет пробужденье.
Умытым словом, горестным *люблю*
я с губ сотру ночное наважденье.

Гляди: неподалеку от села
лесник проснулся. У него дела:
простукивать и слушать бор еловый.
Он вглубь уходит, и земля тепла.
И сердцевина каждого ствола
звучит и плачет: Боже, я здорова!

Сказочка

Спи, а мы поговорим.
Три восточные царя
водят пальцем по бумаге
и, губами шевеля,
слог приклеивают к слогу:
слог, похожий на дорогу.
Небо связанное горит,
как арабский алфавит.

Спи, дорога далека.
Гласный гласному кивает,
слово дышит глубоко
между связок, перстневидным
забавляется хрящом:
слышен треск кнутов пастушьих,
виден блеск звонков верблюжьих
над расширенным песком.

Спи, доедем до утра.
Доживем до продолженья,
где рука в любом движеньи
не смеется над собой;
где не будем для усмешки
губ от речи отрывать:
нужно слово пеленать

сном, терпением и здоровьем
и дыханием воловьим,
нужно спать.

Нужно спать уже, звезда
засыпая развернулась
перед входом на восток,
как летающий цветок.

1975

Плач

Вот она, строгая жизнь, посмотри, на прорехе прореха,
зеркало около губ, эхо, глядящее в эхо.

И сухие глаза закрывая, волосок к волоску подбирая,
трудные швы тербит и кивает, себя обрывая...

Как ты уйдешь от меня, по-другому живая?

Не покидай, говорю, я еще и еще залатаю.

Видишь, как сыплется ветхая ткань, как иголка дрожит

золотая...

— Что мне за дело? я слышу слова, но уже не сыщу утешений,
только на цыпочки встану и шарю вверх,

и летят из распахнутой тени

стаи щебечущих, плачущих, беглых и пьющих растений...

1975

Памяти одной старухи

Евгении Пахаревой

О жизни линиялой, о блюдце разбитом, о лестнице шаткой...
А там, говорит, темнота, но она не мешает, она не мешает.
Нас мало кто видит, а мы наблюдаем украдкой,
как век коротают, как крошки в ладонь заматают.

Мне время язык развязало, но губ не разжало.
Так дай мне пройти, не тревожа жужжащего мрака.
Кто выберет слово, тот ахнет, и выдернет жало,
и сердце попросит земли, как пчелиная ранка.

А там, говорит, темнота, и не знают глаза человечьи,
какие птенцы под окном, и зачем они бьются
и просятся в окна, и сладко так, сладко щебечут
о лестнице шаткой, о жизни, о жизни, о блюдце.

1975

* * *

Только время доходит сюда – и тогда
только жалость свистит над травой.
Как давно я лежу! ни огня, ни следа.
Что же сердце бежит от себя, как живое?

Ни огня, ни следа, только ветер привык
узнавать и мешаться с травой.
И не слезы в глаза, не слова на язык,
это сердце выходит к тебе, как живое.

1975

* * *

В незапамятных зимах, в неназванных,
в их ларцах, полюбивших молчать,
как зрачок в роговицах топазовых,
будет имя твое почивать.

И рукой, опустевшей от опыта,
я на шарю в шкатулке ночной
все, что роздано было и отнято,
все, что было и стало тобой.

1975

Миньона

Есть говоренье о конце –
как будто насмех при скупце
кидать монеты в воду.
Мой друг, растянем эту сладсть!
достанет слов, чтобы не впасть
в молчанье и свободу.

Не замолчать: такая тьма
в молчанье! выжить из ума
от состраданья – или
от тяготенья век спустя
к тому, с кем общее дитя
до двери проводили.

Я вижу сад и общий сон,
где каждый плод позолочен,
как перстень обручальный,
смолы врачующий наплыв,
сучок обломанный, мотив,
подхваченный случайно:

– Отец, найди мне посошок!
Ни зги в прошедшем и зрачок,
расширенный от страха.
И столько праха на губах,

как будто сели сорок прях
за смертную рубаху.

И, плача, видели друзья,
как спотыкаясь и скользя
бредет мое дыханье
в исток стыдящийся ключа,
в горячий корешок луча,
в рожок повествованья.

И я пойду, как жизнь и стих,
среди попутчиков святых,
но сторонясь и пряча
лицо, любимое толпой,
лицо, забытое тобой,
как лишняя удача.

1975